

И.Б.Ничипоров

Москва

Емельян Пугачев: два опыта творческой интерпретации (М.Цветаева, С.Есенин)

Художественные миры М.Цветаевой и С.Есенина, при неявном характере их сближений¹, в типологическом плане сопричастны сфере неоромантического сознания, весьма влиятельного в искусстве рубежа XIX – XX вв. и обнаруживающего себя на уровне образной системы, языка, общих закономерностей эстетического мышления. Одно из проявлений романтического мировидения заключено в мифопоэтическом пересоздании истории и ее соотнесении как с современностью, так и с индивидуальными исканиями творческого духа.

Переживание эпохальных потрясений первой трети XX в. актуализировало в литературе интерес к переломным моментам прошлого и его трагическим героям, до конца не осмысленным исторической наукой. К числу таких значимых сюжетов принадлежит восстание под предводительством Емельяна Пугачева (1773 – 1775 гг.), традиция художественного исследования которого берет начало еще в словесности XVIII – XIX вв.²

Драматическая поэма С.Есенина «Пугачев» (1922) и эссе М.Цветаевой «Пушкин и Пугачев» (1937) представляют два самобытных и в то же время перекликающихся опыта *реинтерпретации исторического материала и личности Пугачева*. Каждый из авторов вступает в сложный диалог с обращенными к этой тематике пушкинскими документальными и художественными произведениями («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). При внешнем жанрово-стилевом и композиционном несхождении названных текстов Есенина и Цветаевой, их сближает *лиро-эпический характер осмысления действительности*, поскольку масштабный исторический, культурный фон пронизан у обоих авторов автобиографическими и исповедальными мотивами.

Работа Есенина над драматической поэмой «Пугачев» (с ноября – декабря 1920 г.) включала в себя не только знакомство с многочисленными историческими источниками и поездку по местам, где происходило восстание (Самарская и Оренбургская губернии), но и размышления о содержательных открытиях и лакунах в сочинениях Пушкина о Пугачеве. Так, по его мнению, в «Капитанской дочке» избыточной является любовная интрига, которая не способствует полноценному постижению Пугачева и его

сподвижников в качестве незаурядных личностей: «Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Есть еще одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева» (3, 467 – 468)³.

Образ Пугачева сопрягался у Есенина с поисками «героя» времени, способного противопоставить свою пассионарную мощь вызовам истории⁴. С первых сцен произведения в лирических монологах центрального персонажа запечатлены его яркое образное мышление и романтическое противоборство с враждебными силами окружающего мира: «Рать врагов цепью волн распалась, // Не удалось им на осиновый шест // Водрузить головы моей парус» (3, 7). В экспозиции герой предстает скитальцем, «прохожим», который «пришел из далеких стран» (3, 8) и в то же время имеет обостренную чуткость к общественным процессам: «Яик, Яик, ты меня звал // Стоном придавленной черни...» (3, 7). Постепенно крепнущее в сознании Пугачева убеждение в собственной призванности к историческому лидерству основывается на интуитивном вслушивании в ритмы социального бытия, в спутанное народное разноголосье: «Как живет здесь мудрый наш мужик?.. // Так же ль мирен труд домохозяек, // Слышен прялки ровный разговор?.. // Неужель в народе нет суровой хватки...» (3, 8, 9).

Как впоследствии в эссе Цветаевой, Пугачев выведен у Есенина не просто деятелем и аналитиком, но и *речетворцем*, который посредством экспрессивных, не лишенных авангардистских красок образных сцеплений творит автономную эстетическую реальность. Моделируемое творческим сознанием героя художественное пространство придает ему статус *alter ego* и собеседника самого автора и позволяет в концентрированном виде выразить как собственные душевные движения, так и конфликтное состояние стихий природно-космического и исторического бытия: «Луна, как желтый медведь, // В мокрой траве ворочается» (3, 7); «Пучились в сердце жабы глаза // Грустящей в закат деревни» (3, 8); «Клещи рассвета в небесах // Из пасти темноты // Выдергивают звезды, словно зубы» (3, 11).

Внутренняя значительность Пугачева обусловлена у Есенина теми *рационально неразрешимыми парадоксами его личности*, которые станут предметом размышлений и в эссе Цветаевой. Это противоречивое, свойственное романтическому сознанию

взаимопроникновение злодейства – и чистого сердца; буйства – и аскетического душевного устройства; стихийных сил – и отчетливо выраженного рефлексивного начала. Самоощущение «степным дикарем» (3, 21), родство с природными силами, зоркость к тому, как «ворочается зверенышем теплым душа», желание «слушать бег ветра и твари шаг» становятся у Пугачева предпосылками для пробуждения интуиций о своей личностной и исторической роли: «Я значенье мое разгадал...» (3, 21).

Облеченная в колоритные образные ассоциации историософская рефлексия героя о «мертвой тени императора», устремляющейся «на российскую ширь» (4; 174), о поднимающемся повсюду «благовесте бунтов» подводит его к уяснению и вербализации уготованной ему миссии, которая, как ему верится, должна сообщить массовым стихийным устремлениям гармонизирующую направленность:

Это буйствуют россияне!
Я ж хочу научить их под хохот сабель
Обтянуть тот зловещий скелет парусами
И пустить его по безводным степям,
Как корабль (3, 26).

В аксиологической концепции есенинской поэмы *явление самозванства приобретает надысторический, мессианский и глубоко религиозный смысл*. Такая трактовка преемственно связана с предшествующим творчеством поэта, где значимое место занимал сюжет пришествия Мессии в земной мир⁵, и оказывается типологически родственной тому сопоставлению Пугачева и императрицы Екатерины, которое будет развернуто в эссе Цветаевой. В интерпретации автора поэмы самозванное приятие Пугачевым имени Петра III не имеет ничего общего с авантюрной борьбой за власть, но является *актом жертвенного, вплоть до отказа от своего имени, самоотречения ради спасения соотечественников*: «Трудно сердцу светильником мести // Освещать корявые чащи. // Знайте, в мертвое имя влезть – // То же, что в гроб смердящий» (3, 28).

Осмысление Пугачевым эпохального масштаба принятой на себя миссии по радикальной трансформации самого образа власти в России неотделимо от его горьких исповедальных признаний о непомерной цене подобного перевоплощения:

Больно, больно мне быть Петром,
Когда кровь и душа Емельянова.
Человек в этом мире не бревенчатый дом,
Не всегда перестроишь наново (3, 28).

Изображение последующих коллизий в судьбе Пугачева, связанных с предательством сподвижников и безысходным одиночеством, *постепенно переводит исторический сюжет в область интимно-лирических прозрений*. Трагедийная линия

центрального героя все более тесно смыкается в поэме с контекстом лирического творчества самого Есенина – подобно тому, как и в эссе Цветаевой в раскрытии устремлений Пугачева будут преломляться сокровенные искания и Пушкина, и – в подтексте – собственно цветаевской героини.

В финальных монологах Пугачева первоначально доминировавший риторический дискурс заметно теснится элегическими образами и интонациями. Его отчаянные сетования на осень – «злую и подлую оборванную старуху» с «невеселой холодной улыбкой» (3, 49), сожаления о юности, которая, «как майская ночь, отзвенела... черемухой в степной провинции» (3, 50), – высветляют в Пугачеве проекцию есенинского лирического «я», с его неприкаянностью и мучительными раздумьями о явных и глубинных потерях на жизненном пути.

Неоромантическое прочтение судьбы Пугачева приводит в поэме Есенина к конечному *перерастанию исторического измерения в онтологическое*. Мессианское целеполагание главного героя вступает в роковое противоборство не столько с внешними препятствиями, сколько с надличностными «угрозами суровой судьбы» (3, 47), вследствие чего на первый план выдвигается *характерная для романтической картины мира тема фатальной невозможности воплощения абсолютной правды в земной человеческой реальности*. Этот онтологический ракурс изображения исторических событий, заключающий в себе рефлексию об их несбывшихся альтернативах, станет главным предметом творческого исследования в цветаевском «Пушкине и Пугачеве», где, как и у Есенина, будут постигаться «роль и власть иррациональных стихий в судьбе человека»⁶.

В эссе Цветаевой «Пушкин и Пугачев» образ Вожатого рождается из «сновиденного языка» (V, 498)⁷ и вписывается в контекст авторских жизненных и творческих предчувствий: «Вожатого я ждала всю жизнь... среди мутного кручения метели» (V, 498). Подобно герою есенинской поэмы, цветаевский Вожатый уже в самом начале предстает как *речетворец и тайновидец*, который способен пролить свет на сокровенные смыслы иносказательного народнопоэтического языка: «А Вожатого – поговорки!.. Поговорки, в которых я ничего не понимала и понять не пыталась, кроме того, что он говорит – о другом: самом важном. Это была первая в моей жизни иносказательная речь (и последняя, мне сужденная!) – о том самом – другими словами, этими словами – о другом, та речь, о которой я, двадцать лет спустя:

Поэт – издалека заводит речь.

Поэта – далеко заводит речь...» . (V, 499)

Настойчиво постулируемая в эссе причастность Пугачева сфере творчества проистекает от характерного для Цветаевой убеждения в «страсти всякого поэта к мятежу» (V, 509)⁸ и приводит к своеобразной *«интимизации» всей рассказанной Пушкиным истории этого персонажа*. Автор эссе воспринимает пушкинского Пугачева чистейшим «кристаллом романтизма» (V, 512) и активной действующей силой в собственном романтическом образном пространстве, поскольку «Пугачев нам... Пушкиным – внушен... Пушкин на нас Пугачева... навел, как наводят сон, горячку, чару... Этот живой мужик – самый неодолимый из всех романтических героев» (V, 513).

В прочтении «Капитанской дочки» Цветаева, подобно Есенину, исключает из поля зрения любовную интригу («Вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым», V, 500) и сосредотачивается прежде всего на *парадоксализме* как ведущем принципе изображения Пугачева. Нравственная парадоксальность Пугачева побуждает автора эссе к пересмотру традиционных этических оппозиций и устоявшихся исторических оценок, поскольку, в цветаевском восприятии, «Пугачев никому не обещал быть хорошим... Хорошим – оказался... Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось – добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра... У Пушкина Пугачев получается какой-то зверский ребенок, в себе – неповинный, во зле – неповинный» (V, 501, 509).

Таинственная «чара» Пугачева связывается Цветаевой со знакомой и по есенинской поэме *романтической темой невозможности*, которая воплощается как в индивидуально-личностном, там и в историческом аспектах.

По мысли Цветаевой, в *личностном плане* Пугачев невозможным с рациональной точки зрения образом показал, как в сфере зла могут просматриваться семена добра и нравственной чистоты: «В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром, всю свою самосилу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам неразрешимую загадку: злодеяния – и чистого сердца» (V, 521). В цветаевской трактовке именно *драма невозможности* составляет сердцевину внутренней жизни Пугачева, который по отношению к Гриневу «одержим *отцовской* любовью: любовью к невозможному для него сыну: верному долгу и роду – “беленькому”» (V, 504). Общение с Гриневым, продиктованное для Пугачева *тягой к невозможному* («Ему нужен был именно этот – чужой. Мечтанный. Невозможный. *Неможный*», V, 502), оборачивается парадоксальной встречей и взаимодействием *не только нравственных, но и*

исторических оппозиций, ибо это «очная ставка Долга – и Бунта, Присяги – и Разбоя... В Пугачеве, разбойнике, одолевает человек, в Гриневе, ребенке, одолевает воин» (V, 503).

На типологическом уровне Цветаеву сближает с Есениным художественный интерес *к тайне пугачевского самозванства, и шире – загадке самой власти*. Если в романтической концепции есенинской поэмы самозванство сопрягается с жертвенным приятием на себя ненавистной личины власти, то у Цветаевой оно понимается более глобально – как взрыв творческой энергии, вызов внешней событийной логике исторического процесса. В цветаевской романтической аксиологии «взрыв способен стать созидающей субстанцией»⁹, ее «взрывное восприятие... ищет катастрофы, чутко нацеливается на взрыв как на некий выход, созидательную энергию... В ее представлении настоящий поэт всегда переполнен состоянием взрыва»¹⁰.

Усматривая не только в Гриневе, но и в Пугачеве проекцию творческого сознания Пушкина и считая «мечтанную встречу самого Пушкина с Самозванцем» (V, 508) центральным сюжетом всей «Капитанской дочки», Цветаева сплавляет «текст» жизни и «текст» искусства и выстраивает разветвленную оппозицию государственной, династической – и самозванной, «альтернативной» власти. Из соположения отношений Пушкина с Николаем I и Гриневы с Пугачевым в эссе вызревает примечательная образная параллель: «Самозванец – врага – за правду – отпустил. Самодержец – поэта – за правду – приковал» (V, 504). В сопоставлении Пугачева с Екатериной также становится очевидной подлинная, «народная» царственность самозванца: «Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку... Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева... на Екатерину осталась казенная почтительность» (V, 511).

Стихийная энергия Пугачева нацелена, по Цветаевой, на ниспровержение несвободной, чуждой духу творчества инерции обыденного существования в личной и исторической жизни. Однако и в поэме Есенина, и в эссе Цветаевой трагедийная судьба Пугачева глубоко мотивирована *онтологической невозможностью воплощения романтически понятого идеала Бунта в эмпирике исторической действительности*. В изображении обоих авторов «сфера исторического существования героя обнаруживала... трагедийный конфликт столкновения человека с роковыми силами бытия, трансформацию идеи в собственную противоположность, как только началась ее историческая реализация»¹¹.

Воспринимая «страсть к преступившему» (V, 509) как необходимый признак истинного поэта, Цветаева экстраполирует оппозицию законной и самозванной власти на сопоставление строгого документализма «Истории Пугачева» и художнической свободы, явленной в «Капитанской дочке». Для ее романтического сознания неоспорима ценность «очистительной работы поэзии» (V, 519), имеющей дерзновение пересмотреть, казалось бы, фактологически обоснованный суд истории над Пугачевым и «Пугачева, историей разоблаченного, поэзией реабилитировать... С нижеморского уровня исторической низости вернуть... на высокий помост предания» (V, 519). *Выстраивание духовно-эстетической альтернативы по отношению к текущей действительности* составляет, по убеждению Цветаевой, главный смысл творчества, его «неизъяснимое наслаждение смертное, бессмертное, африканское, боярское, человеческое, божественное, бедное» (V, 510), а «пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на опыте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образов» (V, 519).

Таким образом, драматическая поэма С.Есенина «Пугачев» и эссе М.Цветаевой «Пушкин и Пугачев» могут быть прочитаны как примечательные *художественные манифесты неоромантической историософии XX в.* При том, что в поэме Есенина очевидны и объемная эпическая панорама пугачевского движения, и драматургическая детализация речи, жестов, поведения, поступков центрального героя, а в эссе Цветаевой этот созданный Пушкиным образ как будто без остатка растворен в собственно цветаевских ассоциациях, ритмах, «чарах», «сновиденных» интуициях, – *на концептуальном уровне эти две интерпретации фигуры Пугачева обнаруживают глубинное родство.* В обоих случаях образ Пугачева осмыслен как преломление авторского романтического сознания, как отправная точка в раздумьях о потаенной природе «самозванства», в исканиях «невозможного», «альтернативного», неизбывно парадоксального измерения личностного и исторического бытия. У Есенина более явно акцентируется жертвенная, мессианская роль предводителя народного бунта, у Цветаевой же прозрение «чистейшего романтизма» этой натуры выводит к обобщениям о путях творческого пересоздания действительности.

Для литературной реальности XX века, прошедшей через период насильственного выхолащивания из общественно-исторического знания всякого духовного, мистического

содержания, рассмотренные опыты поэтического осмысления и «преображения» истории представляются чрезвычайно весомыми.

¹ О косвенных творческих пересечениях двух поэтов см.: *Саакянц А.* Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М., Эллис Лак, 1999. С.415, 434, 535 – 536.

² *Фолимонов С.С.* Емельян Пугачев: проблема художественной интерпретации (на материале произведений А.С.Пушкина и В.Г.Короленко) // Пушкинские чтения – 2012. «Живые» традиции в литературе: жанр, автор, герой, текст: материалы XVII междунар. науч. конф. / под общ. ред. В.Н.Скворцова; отв. ред. Т.В.Мальцева. СПб., ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2012. С.202 – 209.

³ Ссылки на произведения С.Есенина с указанием тома и страницы приведены по изд.: *Есенин С.А.* Полное собрание сочинений: В 7 т. / Гл. ред. Ю.Л.Прокушев; ИМЛИ им. А.М.Горького РАН. М., Наука; Голос, 1995 – 2002.

⁴ *Ничипоров И.Б.* Поиски «героя времени» на изломе эпох: драматические поэмы С.Есенина «Пугачев» и «Страна негодяев» // Русский человек на изломе эпох в отечественной литературе: сб. статей по Материалам Международного образовательного форума. Киров, ВятГУ, 2007. С.81 – 89 (Электронный доступ: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37236.php>).

⁵ *Ничипоров И.Б.* Сюжет пришествия Бога в мир в поэзии С.Есенина [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.portal-slovo.ru/philology/45918.php>

⁶ *Кудрова И.В.* Цветаевские лейтмотивы в пушкинской теме // А.С. Пушкин – М.И.Цветаева: Седьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9 – 11 октября 1999), [Москва]: Сб. докл. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000. С.9 – 15.

⁷ Ссылки на текст М.Цветаевой с указанием тома и страницы приведены по изд.: *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А.Саакянц, Л.Мнухина. М., Эллис Лак, 1994 – 1995. Курсив в цитатах принадлежит М.Цветаевой.

⁸ См. об этом: *Павловская Г.Ч.* Стихия революции в мироощущении М.Цветаевой // Стихия и разум в жизни и творчестве Марины Цветаевой: XII Междунар. научно-тематич. конф. (Москва, 9 – 11 октября 2004 г.): Сб. докл. / Отв. ред. И.Ю.Белякова. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. С.132 – 138.

⁹ *Осипова Н.О.* Семантика взрыва в творчестве М.Цветаевой // Стихия и разум в жизни и творчестве Марины Цветаевой... С.127.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Мусатов В.В.* «О, смешной, о, смешной, о, смешной Емельян!..» // Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М., Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998. С.109.